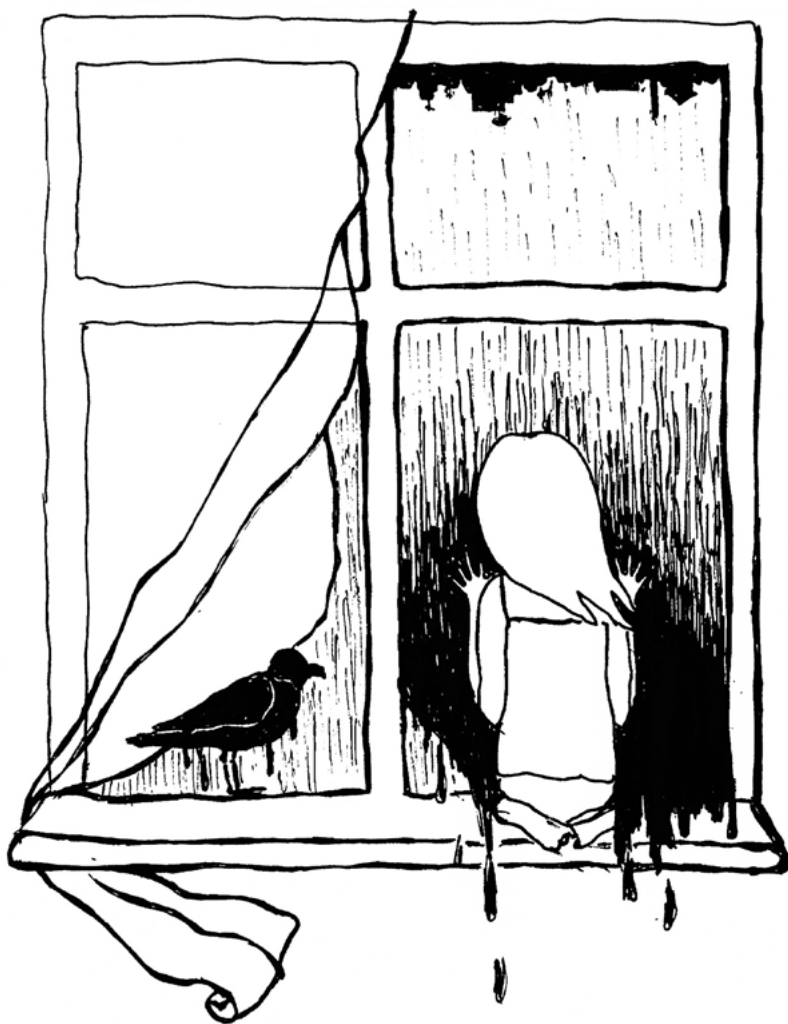
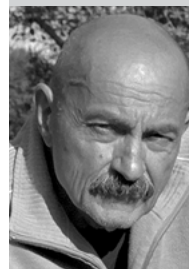




Ольга Васильевская



Михаил Ярцев

Обман

(окончание, начало в № 4–5/2018)

Михаил Ярцев. Родился в 1953 году в Ленинграде. Петербуржец в четвертом поколении. Окончил ЛГУ, кандидат физико-математических наук по специальности «Океанология». Участник семи высокоширотных экспедиций к обоим полюсам Земли. Занимался издательским и страховым бизнесом. В последние годы нашел себя в качестве переводчика и литератора. Роман Михаила Ярцева «Лжец и отщепенец» номинировался на премию «Большая Книга» в 2016 году.

Поезд

(окончание)

С этого дня в Мосейкином нутре поселился тревожный червячок. Имя ему было — страх. Страх беспричинный, страх безотчетный и беспредметный. То нарастающий — как в двадцать девятом, когда его внезапно вызвали в Москву, и он знал, чем может закончиться такой вызов, а оказалось — укреплять кадры центрального аппарата Главпура рабоче-крестьянской армии. То страх, уходящий на малое время — от великой радости рождения первенца Сени два года спустя уже в столице, в просторной квартире на Земляном Валу.

Страх преследовал его в конце октября сорок первого, когда, стремительно удаляясь от осажденной Москвы в более-менее спокойный Куйбышев, писал он в мягком вагоне яростные и горькие воззвания к защитникам Отечества: «Враг у ворот!», «Отступать некуда — позади Москва!», которые, по мнению самого товарища Мехлиса, сильно укрепляли упавший было боевой дух москвичей. Не страх погибнуть от шальной немецкой бомбы — эка невидаль, раз — и все, а страх неведомого страшного, и оттого нестерпимо ужасного.

Понемногу отпускать Ковбыша стало только в Ленинграде, где он с блеском дал идеологическую оценку деятельности клубка змей, свивших гнездо в обкоме партии. В Питере прижился окончательно, тем более что

Сеня поступил в архитектурно-строительный. И даже неожиданная — и ранняя — для работника его уровня отставка в конце пятидесятых лишь прибавила покоя.

Время великого эквilibра, сопровождавшего каждый его прожитый день, наконец-то закончилось. Сын Сеня радовал успехами, огромная квартира на Колокольной в доме постройки Беккера с красивой лепниной по фасаду поражала немногих знакомых богатством и грандиозностью, и в глубине души он был даже рад неожиданной перемене участи. Через сорок лет настало успокоение, раскаленный Баку исчез из воспоминаний, растворившись легкой туманной дымкой, ушел за самый дальний горизонт — горизонт давно прошедшего времени, некоего немецкого Plusquamperfekt...

...Вторая встреча тем же яростным летом двадцатого была совсем нового сорта. Попался ему человек в рутине дел, вроде особо и не примечательный — десятки и сотни похожих в своем страхе и одинаковости прошли через трюм баржи с гордым названием «Парижская коммуна», бывшая «Три святителя». Предъявить ему вроде было и нечего, разве что одет чисто и монокль буржуйский. А в глазах его — надежда, которую было принято оставлять у верхних сходен.

— Кто таков, милостивый государь? Документики прошу... Что на пристани толкался? — по обыкновению ласково начал Ковбыш, ожидая услышать обычный бред. Мол, бежал от белых, турок, англичан, дашнаков, мусаватистов, потерял семью, документы украли, страдал, наконец, у своих, которые обязательно разберутся во всем.

И неожиданно услышал прямой ответ с чуть заметным акцентом, не южным, но каким-то не очень знакомым.

— Я главный инженер бакинской конторы компании «Нобель». Фамилия моя Дембо, работы нет, компании нет, промыслы загружены на треть... Разруха... Мечтаю отбыть в Иран, где смогу приносить пользу... А здесь наблюдаю полное отсутствие исполнительской дисциплины...

Глаза Ковбыша округлились: вот так сразу признаться, что бежит от Советской власти? Контра идейная, идеи свои не боится озвучить... И где? В ВЧК?! Звериный нюх подсказал, что с этим Дембо что-то не так...

— Если вы меня устроите на пароход, шхуну, буксир, фелюгу... — Дембо помедлил, — вы будете сказочно богаты... Не пожалеете... Графа Монте-Кристо читали? (Ковбышу доводилось слушать эту историю в устном пересказе, и он завидовал несметным богатствам и неограниченной возможности главного героя манипулировать людьми и обстоятельствами; насколько он помнил, главного героя звали вроде бы Дантес). Так вот, я ваш аббат Фариа...

— Так где же ваше богатство? — Ковбыш не заметил, как назвал испытываемого на «вы». — В портках? — притворно усмехнулся Мосейка, но сам сжался от невиданного внутреннего напряжения...

— Более того, мое богатство не только богатство, оно и чрезвычайно удобно, — отчетливо и странно сказал Дембо, с нажимом повторяя последнее слово «удобно».

С этими словами инопланетянин пододвинул к себе стул, сел, заложив ногу на ногу, и ловко закурил дорожную сигарету «Принц Монако». Комната наполнилась едко-приторным ароматным дымом египетского табака.

Ковбыш опешил от такой наглости:

— Сейчас ты у меня раком поползешь и все расскажешь, все, как на исповеди...

Тот, который назвал себя Дембо, только прищурился, выпустил колечко дыма и вместо того, чтобы испугаться, задал вопрос тем же спокойным тоном:

— Щепки под ногти вставлять будешь?

И тут же ответил:

— Не поможет, я сознание моментально теряю, низкий болевой порог и сердце слабое... Так что толком сказать ничего даже не успею... Да и делиться придется, если вдруг проболтаюсь, — еще одно колечко, прищур строже.

И Мосейка поверил. Понял, что судьба дает шанс, не использовать который — всю оставшуюся жизнь себя корить...

— Сокровища в Старом городе, на съемной квартире, пойдем вдвоем, а на судне я тебе его отдам...

— Мы чего — с двумя пудами золота поспремся? — не веря счастью и оценивая размер вот-вот свалившегося богатства, глупо переспросил Ковбыш, облизывая пересохшие от волнения губы.

— Дурак ты, комиссар... — протянул насмешливо и снова ухмыльнулся. — Я тебе про настоящее богатство, вечное, сохранное и потаенное, а ты — про золото... Ты свое золото куда прятать будешь? В галифе? Или под ермолку?

«Бриллианты», — зазвенело в голове у Ковбыша, и он громко — так, чтобы было слышно наверху, крикнул:

— Конвой! Проводите меня с товарищем в Старый город... Товарищ из центра, с секретным заданием...

— Маузер-то оставь... С маузером не пойду... — и Дембо, раздавив окурки сигареты на чисто отмытом полу, поднялся с места.

Чуть вышли за пристань, Дембо велел отпустить конвой. «Ничего, — подумал Мосейка, — если что не так, придушу на месте», — зная силу своих пальцев.

Долго петляли по узким кривым улочкам Старого города. Быстро опускалась ночь. «Не удул бы!» — подумалось Мосейке, но мгновением позже они остановились около неухоженного обшарпанного флигеля, открытого против обыкновения с трех сторон застройки. Залезли в полуоткрытое окно и оказались в комнате, которая когда-то была либо кабинетом, либо скромной библиотекой. На полу валялись книги с наполовину выдранными страницами и куски поломанной обстановки. В наступившей темноте Дембо нашарил в углу масляную лампу и затеплил фитилек. Стало светлее.

— Стой здесь! — приказывал уже Дембо. Во рту у Ковбыша окончательно пересохло, он жаждал увидеть игру света, пусть слабого, на полированных боках драгоценностей. Дембо приподнял половицу, в руках у него появились две в меру истрепанные книги.

— А бриллианты? — только и спросил опешивший Ковбыш.

— Какие бриллианты, смотри сюда, — и Дембо пододвинул книги поднос Мосейке. — Очки не нужны? Вот «Первый русский описательный иллюстрированный каталог марок с двумястами рисунками», а вот швейцарский «Цумштейн», а вот она, — и он бережно из середины книги вынул маленький желто-оранжевый квадратик. На нем был изображен профиль какой-то некрасивой тетки с пучком волос на затылке, а краешек запятнан типографской краской. — Это «Оранжевый Маврикий» — царица царей среди марок, уникам, — последнее слово Мосейка не понял, ему казалось, что его обдурили, — теперь смотри сюда... — Дембо ткнул пальцем в картинку чуть ли не на первой странице книжки. — Вот цена на 1901 год — сорок пять тысяч рублей золотом... Их в мире меньше двух десятков... А в Швейцарии, — и он открыл другую книгу, и Мосейка против похожей картинки увидел цифру с пятью нулями... — И запомни: через каждые десять лет она будет стоить в два раза дороже... Жаль, всю коллекцию спасти не удалось — мангал, варвары, растапливали...

— Ну, прощай, чекист! — и с этими словами Дембо последний раз взглянул Ковбышу прямо в глаза. — Тут народ такой, что тебе ночью и с охранной неловко будет... Мне «Маврикий» счастья не принес — может, ты счастливее будешь, хотя вряд ли... Мне пора, а то неровен час, на обратном пути друг друга голыми руками поубиваем, — и Дембо шагнул к двери, на мгновение повернувшись к Ковбышу спиной. Это была фатальная ошибка.

В кармане ковбышевских галифе покоился маленький никелированный дамский браунинг, найденный в сумочке «подданной короны Ее Императорского Величества». Ковбыш с ним не расставался, и сослужил этот маленький, почти игрушечный, пистолетик добрую службу.

Раздался хлопок выстрела, не громче шампанской пробки, и Дембо упал, пораженный прямо в затылок...

Ковбыш перевернул тело инженера на спину. Убедился, что тот не дышит. В углу нашел тяжелую медную ступу и несколько раз с силой приложился к голове убитого, уродуя лицо. Забрал монокль как особую примету, еще раз огляделся, осмотрел, не забрызгал ли френч кровью, задул лампу и шагнул в темноту, оставив дверь неплотно прикрытой: «Может, и собаки набегут, доделают, обгрызут, что повкуснее... Много их развелось в Закавказской совдепии...»

Возвращался Ковбыш при полной луне. В нагрудном кармане френча, переложенный двумя листиками папиросной бумаги, покоился желтый квадратик. Буржуйские книги Ковбыш предусмотрительно выбросил, вырвав для сохранения один лист из русского каталога.

И с того дня его богатство было всегда при нем, благо Дембо был абсолютно прав относительно удобств формы его сохранения. Поначалу Мосейка запрятал марку между двух специально склеенных страниц «Манифеста коммунистической партии», здраво рассудив, что ни один более-менее вменяемый человек не станет листать эту книгу, тем паче ее читать. А с другой стороны, «Манифест коммунистической партии» на столе ответственного работника свидетельствовал о том, что товарищ, понимая сложность текущего момента — а в жизни страны не было моментов несложных, — в трудную минуту всегда готов почерпнуть из сокровищницы классической мысли основоположников.

И только в Ленинграде после войны он изобрел тайник сохраннее. В-первых, за годы работы он увидел такое количество выпотрошенных библиотек, убеждаясь раз за разом, что даже «Манифест» местом укромным можно считать с большой натяжкой. Во-вторых, за плечами были и высшая партийная школа, и два курса института красной профессуры, обогативших его природную сметку и звериный нюх кое-какими общими знаниями. И в-третьих, попалась ему на глаза книжонка. Тоненькая, в мягкой мятой обложке, оставленная кем-то в мягком вагоне «Красной стрелы» и не убранная вовремя нерасторопным проводником. «Эдгар По. Два рассказа» — значилось на обложке. Еще подумал: «Гослитовское издание, — и чего они немцев издают...» Но ночь с книжкой скоротал. Первый рассказ про то, как некий авантюрист искал клад, разгадывая древний шифр, ему не понравился. Разве что перечитал две последние страницы с подробной описью найденных драгоценностей. А вот вторая история заинтересовала его чрезвычайно. Она называлась «Украденное письмо». В ней полиция искала тайник с документом в доме одного пройдохи. Естественно, не нашла ничего, но на помощь пришел очень ловкий малый, который обнаружил предмет поисков на самом видном месте, закамуфлированный под ничего не значащую бумажку.

Идея пришла моментально. Сразу по возвращении Мосейка, порывшись среди обширной переписки, приходившей на его имя, выбрал кон-

верт с наибольшим количеством марок — вроде приглашали выступить на каком-то слете ударников — и ловко вклеил оранжевый квадратик среди портретов рабочих и колхозниц, тем более что профиль оранжевой тетки очень напоминал стахановку, разве что без косынки... И успокоился окончательно.

Во владении несметным богатством, которое лелеяло его душу и распирало внезапно от законной гордости, минусов было два. Первый — невозможность поделить эту информацию с кем бы то ни было. Даже с Адой, которая за тридцать лет успела превратиться из коротко стриженной тоненькой пишбарышни Наркомтяжпрома в дебелую даму, грузно шаркающую по большой кухне. Ибо, как говорится, тайна, известная двум, уже не тайна...

Второй минус был много жирнее. Сошелся в Ленинграде Мосейка с одним человеком. Десять лет вместе, бок о бок. Сделал своим замом. Дома с Адой за глаза так и называл его — «зам». Привезти, отвезти, достать, помочь со стройкой дачи в тихой патриархальной Вырице — везде он был незаменим, стараясь разгрузить Мосейку от повседневных забот. Конечно, у Ковбыша были собственные — и серьезнейшие — связи, но с миром завмагов, товароведов, торговцев на оживших рынках, портных и скупщиков Мосейка предпочитал не якшаться, боясь уронить достоинство советского вельможи перед людьми низших сословий. А зам прекрасно умел как ладить с грузчиками и полупьяными шабашниками, так и пролезать в доселе неизвестные высокие кабинеты, ежеминутно и тактично подчеркивая, что он лишь исполняет волю Моисея Залмановича.

Так вот, в тот темный январский вечер, когда Мосейка под расписку ознакомился с приказом по управлению о переводе его с первого числа следующего месяца в действующий резерв — что на житейском языке означало потерю привилегий, кабинета, служебной «победы», секции распределителя на пятом этаже ДЛТ и много чего хорошего, — верный зам снова оказался рядом и интеллигентно предложил поехать куда-нибудь «завить горе веревочкой». Повод был отнюдь не торжественный, и выбрали они не «Асторию» с крахмалом скатертей и фальшивыми позументами швейцара, комиссованного старшего сержанта МГБ, а шашлычную у Никольского рынка, где собиралась разношерстная публика попроще, и шансы столкнуться с его знакомыми равнялись нулю.

К алкоголю Мосейка был равнодушен, но тем вечером напился здорово. И возраст уже не тот, да и удивительно было видеть в меню: «баранья отбивная — шестьдесят две копейки», «водка столичная — три рубля пятьдесят копеек» с ресторанной наценкой; к денежной реформе еще не приспособились; как с недоверием официанты ощупывали новые хрустя-

щие ярко-красные десятки с неизменным профилем вождя, так и они забыли, что зарплата тоже уменьшилась в десять раз...

Утром, тяжело разлепив веки и выпив «Нарзана» с двумя таблетками пирамидона, вспомнил, как давеча после второй бутылки начал жаловаться заму. Сначала на начальника управления, который не ценит и разбрасывается старыми проверенными кадрами. Потом на сына Сеню — руководитель проекта, а связался с какой-то прошмандовкой с чужим оглоедом на руках... Но все было бы ничего, если бы... Вспомнил: совсем уж заплетающимся языком сообщал собеседнику, что все это Моисею Ковбышу нипочем, мол, богат он несметно, если его продолжат обижать, то сбежит он вместе с Адой и Сеней в государство Израиль, где будет жить припеваючи на зависть недругам, а Сеня построит башню, круче Эйфеля, а богатство то — в одной марочке, по случаю к нему давно попавшей, и на ту марочку купить можно весь дом ленинградской торговли со всем содержимым и директором в придачу.

Сокрушался очень, но ближайшие недели показали, что ничего не изменилось. Ни про государство Израиль, ни про марку зам как бы не помнил. Вид, покуда Ковбыш сдавал дела московскому назначенцу, у него был самый обычный, а на торжественных проводах, когда Ковбышу вручили знак памятный и почетную грамоту от Президиума Верховного Совета, сказал такую приветственную речь, что у вовсе не сентиментального Ковбыша глаза повлажнели. Звонил два раза в месяц. Как дела у отставника, спрашивал, успехами сына и здоровьем Ады интересовался. Обошлось, наверное, — слегка успокоился Мосейка, хотя корил себя за минутную слабость, не переставая.

Тем временем в праздном безделье проходил март, и пора было перебираться на дачу. Зам по старой памяти пообещал помочь с полугрузовичком — они с Адой привыкли жить с комфортом, но многие необходимые вещи на зиму увозили в городскую квартиру, резонно опасаясь жуликов, которых, к сожалению, меньше не становилось, несмотря на все успехи в социалистическом строительстве.

И только назначили день переезда (а лишняя пара рук по такому случаю ой как нужна), выяснилось, что Сеню вызывают в Москву с докладом.

Зам последнюю неделю звонить стал чаще. Интересовался Сеней, его успехами, сокрушался о его вздорном выборе, расспрашивал о вертихвостке: «вправду ли так хороша?» У Ады просил узнать, когда на семейном совете точную дату переезда согласует, чтобы с машиной промашка не вышла. Обрадовался очень, узнав, что Сеня поедет в Москву на коллегию, обещал — если, конечно, Моисей Залманович не против — заглянуть на провода, если служба позволит. Ведь серьезное дело — первый раз в жизни перед министром выступать... Ковбыш совсем успокоился, еще

раз убедившись, что за свои долгие и разные годы в людях он не ошибался, и не подгадил себе жизнь, обманувшись.

В вечер перед отъездом Сеня заявился домой со своей прихвешницей. Ада с каменным лицом пригласила незваную гостью на чашку чая, благо днем испекла к Сениному отъезду штрудель. Он вообще не хотел выходить из кабинета, но внял настойчивым просьбам Ады не портить вечер и настроение. То ли его покоробили Адины местечковые обороты речи, которые она не сумела изжить за десятилетия общения в изысканном кругу жен его ближайших соратников, то ли зависть к радостному оживлению сына, то ли невозможность выпустить пар на работе, но он очень быстро сорвался на крик. Беседы и прощания не получилось: Сеня, наговорив родителям резкостей, забрал свой «командировочный» портфель и, целуя на глазах родителей предмет своего обожания, хлопнул дверью и ушел за три часа до отхода поезда, хотя от Колокольной до Московского вокзала идти было минут пятнадцать неспешным шагом.

Злой, как черт, Ковбыш снова закрылся в кабинете, посматривая на початую бутылку «Двина» в бюро — на заслуженном отдыхе он стал себе «позволять», что раньше исключалось абсолютно. Минут через пять вновь раздался тихий звонок.

— Ада! Открой! Мириться пришел, негодник. Куда ему от родителей деться, — громко крикнул Ковбыш, уже не радуясь возвращению блудного сына и заранее раздражаясь вероятному продолжению неприятного разговора.

...Раздался какой-то шум, и в передней что-то мягко упало, то ли портфель, то ли вешалка, то ли еще что. Дебела и неуклюжа стала его Адочка... «Несет Аду как на дрожжах», — подумал он, с грустью вспоминая тоненькую пишбарышню, с каждым прожитым годом прибавлявшую по паре килограммов.

— На Кузнечном харчи хорошие... — И он саркастически ухмыльнулся.

Встал из-за стола и подошел к старинному большому зеркалу в затейливой раме, чтобы с удовольствием оглядеть свою стройную, несмотря на годы, фигуру. За спиной скрипнула дверь, и он увидел в зеркале смутное очертание человека, но — он похолодел — это явно была не Ада и не Сеня... В ту же секунду страшный удар по голове опрокинул его на пол...

Очнулся он от дикой боли лицом в пол, головы он не чувствовал — чувствовал тяжесть человека, сидящего у него на спине.

— Где марка, кровосос? — как будто ниоткуда спросил его голос, показавшийся ему знакомым. Моментально сапожный молоток острым краем перебил ему пальцы на правой руке.

Ковбыш было завыл, но умелая рука в перчатке зажала ему рот.

— Тише, дура! Где марка? — и последовал новый удар по предплечью. Мучитель лупил Ковбыша, как опытный повар отрабатывает жестковатую отбивную для лучшего вкуса. Он захрипел. — Сознание не терять! — строго приказал голос. — Где?!

Ковбыш узнал голос и понял, что пощады не будет. Стараясь как можно раньше прекратить мучения, он прошептал:

— В верхнем ящике стола, конверты с перепиской, прямо на одном... Желтая...

И тихо закачалась баржа в сине-зеленой каспийской воде, и солнце ласкало ее в последний раз, и снова выстрелили в него два зрачка-буравчика подполковника Фанагорийского полка. Ковбыш бездвижно лежал на мозаичном паркете с проломленным черепом. Свет вспыхнул и погас.

...Многого не знал, да и не особенно хотел знать следователь Заворотняк. И когда лет десять спустя «Маврикий» оказался в коллекции претендента на шахматный трон, который филателией увлекался не менее, чем шахматами, даже первый посредник вероятной длинной цепи никак не мог связать происхождение редчайшего артефакта с двойным убийством на Колокольной.

Более того, вскоре после счастливого приобретения журнал «Молодость» напечатал совсем уж фантастическую версию о происхождении раритета. Ее главным героем был старый партизан, который весной 44-го с боевыми товарищами удачно тормознул немецкую штабную машину, а бумажник толстого оберста достался ему в качестве трофея, где среди рейхсмарок и фотографий был засунут какой-то желтый квадратик. И по прошествии многих-многих лет он отправил эту марку своему кумиру для ознакомления, а скорее пользуясь случаем лично поздравить того с возвращением короны чемпиона мира в СССР.

Единственное, в чем сходились эксперты, так это в том, что марка, вероятнее всего, ранее принадлежала главному инженеру фирмы «Нобель» господину Дембо, чья коллекция, равно как и ее обладатель, пропали в конце Гражданской войны...

...Мишка не сразу — в силу малолетства и скудного еще умишка — понял, что в доме что-то изменилось.

Во-первых, они почему-то не поехали на «дачу», которую он уже помнил по прошлому году и выговаривал эту самую «дачу» почти правильно. Помнил, как кормил соседскую козу Серенькую ромашками, собранными на поле за последним домиком. Понял, что такое «неделя», и стал выделять среди похожих дней один — воскресенье, когда, улыбаясь и хохоча, приезжала мама, обнимала, тормошила его и брала с собой на речку, где так удобно было копаться в песке только что привезенным мамой совком.

Помнил, как в начале сентября пошли дожди, и пора было собираться в город, но вдруг мама приехала с высоким черноволосым дядей, которого звала Сеня, и они с дедом и бабулей остались мокнуть на даче еще на неделю.

Дядя был очень весел и подарил Мишке деревянный ящичек, в котором аккуратно лежали черные и белые фигуры. А потом объяснил, какая из них называется «пешка», а какая — «конь». Кроме того, от дяди Сени Мишка узнал много новых слов: «шах», «мат», «гарде» и самое сложное и красивое — «рокировка». Его было очень трудно выговорить, но Мишка старался, чтобы не ударить в грязь лицом перед новым знакомым. Мама попыталась прекратить урок, на что дядя Сеня, смеясь, ответил:

— Ну что ты, Нора! У мальчишки талант, Ботвинником будет...

Мишка не знал, кто такой Ботвинник, но слово «талант» понимал правильно и, возгордясь, сообщил дяде Сене, что почти умеет читать, а вот с письмом дела обстоят похуже.

Во-вторых, он заметил, что бабулино лицо как-то заострилось, а губы скорбно поджались, чего ранее не бывало, точнее, было один раз, когда Мишка, пытаясь вытащить из сахарницы дополнительный кусок, неловко уронил ее на пол, и сахарница превратилась в груды черепков. На одном из них сверкали два синих перекрещенных меча.

— Саксонский фарфор, — только вздохнула бабуля.

И дед, бравший его на колени для смешной игры в «съехали-поехали», стал делать это чаще, но в «съехали-поехали» уже не играл, а обнимал крепче за плечики и быстрым полупшепотом приговаривал: «Перемелется, Мишка, — мука будет». Мишке казалось, что он пытался то ли помочь кому-то этой присказкой, то ли успокоить самого себя.

И главное — на четвертый день он обнаружил отсутствие мамы. Иногда ее не бывало день-два, и на Мишкины вопросы дед сухо отвечал: «У мамы много работы». Потом появлялась мать, и все начиналось сначала.

В этот раз, расставляя фигурки на доске, прилаженные на маленьком столике в его уголке, он для порядка спросил:

— Гутя? А где же мама? — бабулино полное имя «Гульда» он выговаривал плохо из-за некоторых проблем с буквой «л». За бабулю ответил дед:

— Она уехала в командировку. Надолго...

— А почему мне не сказала?

— Срочно уехала, — и по каменному лицу деда ни с того ни с сего потекли крупные капли слез. Мишка в первый раз в жизни увидел, что дед плачет. Спросить, из-за чего, Мишка почему-то постеснялся.

С того вечера ему стало казаться, что в их квартире вместо мамы поселилась черная злая волшебница, которую он видел зимой в фильме про Белоснежку. От ужаса и внезапности ее появления на экране Мишка тут

же описался, оконфузив маму громким криком на весь кинозал и испортив ей удовольствие от диснеевского фильма. Собственно, в квартире он ее не наблюдал — очевидно, ведьма пряталась в темном чулане в конце коридора, который дед называл «фотолабораторией», но ее слуги стали захаживать весьма регулярно. Приходили какие-то незнакомые дядьки, Мишку закрывали в его маленькой комнатке, которую бабуля называла детской. Он слышал, как они монотонно бубнили в соседней — маминной комнате, и даже — он подсмотрел в дверную щелку — рылись в ее шкафу, перебирая ее красивые платья и блузки. Один из них как-то крикнул:

— Петро! Смотри! Тут на свитерочке пятна какие-то... Надо бы на экспертизу...

— Пиши протокол изъятия, — ответил Петро. Он сопел и копался в ящике маминого письменного стола. Потом дядьки ушли, прихватив старый мамин свитер, в котором она помогала деду в работах на даче.

На Мишкин вопрос «Кто это такие?» бабуля вообще ничего не ответила, что было странно само по себе, так как она знала ответы на вопросы посложнее, объясняя ему, почему небо синее или почему кузнечик в августе трещит... Дед коротко буркнул: «Это по работе...» и добавил, подчеркивая тоном, что разговоры закончены: «Так надо...»

Весна приходила уныло. Во двор Мишку одного не пускали — там стали строить бомбоубежище и рыли огромный котлован. Мишка из окна второго этажа часами наблюдал, как вверх-вниз движется зубастый ковш, вгрызается в глину и щедро высыпает ее в кургузые автомобили. Вечерами дед читал ему книги. Мишка любил слушать про моря и дальние страны. Особенно ему нравилась история о смелом мальчике, который два месяца прожил в трюме корабля, замурованный грузом, и выжил, проявив чудеса изобретательности. Еще одна книжка — о другом мальчике, чуть постарше, маленьком рыбачке, тяжким трудом кормившем себя и старую-престарую бабушку. Первая книга называлась «Морской волчок», а вторая — «Бриг “Три лилии”». Роднило их то, что у обоих мальчиков не было отцов и они, в конце концов, стали капитанами.

О том, что в реальной жизни первый мальчик задохнулся бы от вони и недостатка кислорода, а второй, скорее всего, перевернулся бы на своей утлой лодочке и утонул, Мишка особо не задумывался. У Мишки тоже не было отца, и он тоже хотел стать капитаном.

По воскресеньям пораньше, часам к десяти утра, дед брал его с собой на заводской стадион. Идти было не близко, и дед вооружался палкой, которую называл «помогалкой». Шли не спеша, дед чуть припадал на правую ногу. Бабуля говорила Мишке, что дед был ранен на войне, но сам дед про эту самую войну с Мишкой говорить не любил, отмалчивался, хотя на любые другие темы говорил охотно и помногу. У Мишки создалось впечатление,

чатление, что дед старается, но не может что-то забыть из-за этой самой «войны», и сильно деду вопросами о ней не докучал.

Часам к одиннадцати добирались до футбольного поля, где к воротам уже подвешивали сетки и втыкали по краям синие флажки. Сначала сыпали мелом, обновляя испорченные белые линии. В двенадцать часов на раскисшей от весенней сырости поляне начинали играть мальчишки лет двенадцати, потом юноши, потом молодежь сильно постарше, а вечером — часов в шесть была игра мужских команд. Шло первенство города среди заводских клубов. Их клуб назывался очень красиво и невыносимо сложно для произношения — «Красная заря».

И если небо было ясным, они с дедом весь день сидели рядышком на лавочке, и дед всегда подпрыгивал вверх, вскидывая руки, когда «наши» забивали гол. В перерывах рассказывал, как сам играл в футбол, знал самого Бутусова: «он в первой команде, я — во второй, правым инсайдом», и вздыхал, вспоминая ушедшую далекую молодость. На лавочках сидели всякие смешные люди, приходили и уходили, благо билетов брать было не надо, приходи кто хочет, громко орали и пили из бидончиков и трехлитровых банок пиво. Мишка однажды глотнул этой горькой жидкости и не понял, что они в нем находят, то ли дело шипучая обжигающая крем-сода!

Так проходило это странное время. Мишка освоил все буквы, которые сложились в слоги, а слоги в слова. К концу апреля спокойно читал все вывески по пути:

— Гастроном, ателье, завод «Двигатель», отдел кадров.

— Кадров, а не кадров, — поправлял дед.

Тем не менее, он не мог разобраться в происходящем, смутно понимая, что череда понятных и предсказуемых событий нарушена, и почти перестал спрашивать у своих стариков о маме, быстро заметив неискренность в их стандартных ответах про командировку. Его стало посещать новое и совершенно незнакомое чувство, какое-то недочувство, возникшее из полуответов, полуулыбки, полуслез бабули и деда. И чем сильнее дед прижимал его к себе, тем сильнее становилась неприятная щекотка в груди.

К концу мая пошли проливные дожди, футбольное поле покрылось лужами, и сидеть с дедом на мокрой лавочке было очень неловко, да и наскучило. Мишка окончательно загрустил, разве что слуги черной королевы навещать их перестали. Он подолгу сидел у окна и, никому не рассказывая, высматривал, не появится ли из-за угла мама с чемоданчиком подарков. Впрочем, он ждал ее и без чемоданчика. Любую. Лишь бы вышла из-за угла и помахала Мишке рукой. Но на улице в грязи копались рабочие, огораживая досками огромную яму, за одну чахлая питерскую

весну заменившую жиденский скверик, и спешили незнакомые люди. Мамы среди них не было.

Как-то раз в обычный полдень он мастерил из двух венских стульев, табуретки и старого покрывала, которое бабуля называла «попоны», шалаш, чтобы поиграть там то ли в индейцев, то ли в казаков-разбойников — он точно еще не решил... Вошел дед и остановил игру, что случалось крайне редко.

— Слушай, Мишук! — сказал как можно ласковее. — Мы тут с Гутей (дед тоже называл бабулю Гутей: ее полное имя слишком явно подчеркивало происхождение) посоветовались и решили...

Дед немного замялся, но продолжил:

— Созвонились с дядей Ремом и тетей Ларисой в Таганроге...

Мишка знал много городов, он любил рассматривать карту мира и читал, почти не запинаясь: «Москва, Киев, Прага, Аддис-Абеба», — последнее название ему особенно нравилось, но о странном «Таганроге» он услышал впервые, как и о дяде Реме (что за имя?!) и тете Ларисе.

— У тебя со здоровьем не здорово, легкие, доктора говорили, слабые, по осени железки распухают, РОЭ высокое (из-за этого проклятого РОЭ Мишку раз в месяц таскали в поликлинику и больно кололи палец, а это РОЭ никак не опускалось меньше двадцати пяти, и врачи только разводили руками). Чего тебе сидеть в сырости и слякоти, а там климат, — дед поднял указательный палец. — Климат поменяем, может быть, и на поправку пойдешь...

Дед помедлил и продолжил, стараясь спрятать дрожащие руки за спину:

— У них дочка есть, Ирочка, на четыре годика старше, в третий класс ходит, сестренкой тебе будет... Ты же хотел братика или сестричку?! Так что собирайся, дружок, я на следующую пятницу билет тебе взял на Ростовский поезд... Они тебя встретят... Рем... Лариса...

Дед стал запинаясь и отводить от Мишки глаза:

— А в дороге проводник и бригадир присмотрят... Я договорюсь... Понимаю, что ребенку малому одному нельзя... Я договорюсь. Встретят тебя... Договорюсь... Денег дам... У тебя билет будет... Детский... Все хорошо будет...

И тут Мишка заревел, заревел так, что в комнате задрожали рюмки в открытом серванте. Он выл отчаянно и безнадежно. Второй раз в своей маленькой короткой жизни. Впервые он рыдал в голос, когда сломал подъемную стрелу автомобильного крана, подаренного на его пятилетие.

Утром пятницы Мишка проснулся поздно. Очевидно, дед дал ему всласть выспаться перед путешествием. Посидел с дедом на кухне, выпил чаю с вкусным бутербродом, от каши категорически отказался, несмотря

на все уговоры деда как следует подкрепиться перед дальней дорогой. Заметил, что бабули уже нет в квартире, а на вопрос получил стандартный ответ: «Ушла по делам». Такие ответы нравились ему все меньше и меньше, только подчеркивая странность этих непонятных дел.

...Приговор начали читать в одиннадцать утра...

— ...Рассмотрев в открытом судебном заседании материалов уголовного дела в отношении Ковбыша Семена Моисеевича, 1930 года рождения, уроженца города Москва, холостого, имеющего высшее образование... Званцевой Элеоноры Борисовны, 1932 года рождения, уроженки города Ленинграда, зарегистрированной по адресу... Незамужней, имеющей на иждивении ребенка неполных семи лет, высшее образование, ранее не судимая... Обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 102 Уголовного кодекса Российской Федеративной Социалистической Республики... Вступили в преступный сговор... По корыстным мотивам... Для совершения своих противоправных действий Ковбыш и Званцева распределили между собой роли...

До обеда бесцельно слонялся по квартире. Игрушки были уже сложены в специальный «игрушечный» ящик, но он вытащил свой любимый кран и попытался запихнуть его в собранный с вечера рюкзачок, с которым он отправлялся в путешествие. Кран категорически отказывался помещаться в тугое набитое чрево, что немного расстроило Мишку...

— ...28 марта 1961 года, примерно в 20 часов, реализуя совместный преступный умысел, Ковбыш и Званцева отправились на квартиру по адресу: Колокольная улица... Таким образом, тщательное планирование совместных действий соучастников преступной группы, внимательная подготовка к каждому этапу преступления и наличие необходимого реквизита — тупого тяжелого предмета — позволили успешно выполнить все стадии намеченной акции и подойти к завершающему ее этапу — убийству... граждан Ковбыша Моисея Залмановича и Ковбыш Аделаиды Соломоновны...

...Нанесли своим жертвам тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть, во исполнение своей преступной роли с ведома и согласия обоих соучастников...

Дед все утро и половину дня не выходил из кухни и смолил одну папиросу за другой. Плотные табачные облака пролезали в коридор и комнаты, материализуясь сизыми срезам в проходящем свете. Мишка знал,

что дед курил с далекой войны и, как ни старался, не мог избавиться от пагубной привычки, но чадил — по просьбе бабули — «разумно», выходя на лестницу или, в крайнем случае, выкуривая вечером одну-две папироски у открытой форточки.

— Пора собираться, Мишук! — дед вошел в комнату. — Завидую тебе — в Таганроге до конца октября теплынь. Тетя Лариса писала... И фруктов море будет, и винограду... Вволю поешь...

— А что, деда, там вправду виноград прямо на деревьях растет? — спросил удивленный Мишка.

— Нет, не на деревьях, на кустах таких с длинными ветками, лоза называется.

Мишку поразило, что при разговоре у деда шевелились только губы, а само лицо было как будто схвачено белой алебастровой маской, навек сжавшей чуть измененные против обычного черты.

— Присядем на дорожку. Дорога дальняя... Есть такой обычай, — дед опустился на старый венский стул в прихожей. Мишка устроился на полке для обуви.

Загребели ключи, дед закрыл замок на три оборота — это значило, уходит надолго, и с этим самым «надолго» усилилось чувство безотчетной тревоги. Объяснить его он не мог, как не мог заглянуть в будущее, в котором этой уютной квартиры, этих двустворчатых дверей и высоких окон в его жизни уже не будет...

Трамвай, позвякивая на поворотах, пробирался по городу. До Московского вокзала, откуда уходили на юг поезда дальнего следования, ехать было не близко и не далеко. Мишка любил маршрут №25: его одним из первых снабдили новенькими блестящими вагонами, в которых двери закрывались автоматически, а водитель объявлял остановки по радио, не то, что кондукторши орали скрипучими голосами: «Инженерная! Следующая — Бялинского!» И сигнальные огоньки у двадцать пятого были самые красивые — два красных. Мишка с легкостью запомнил эти отличительные знаки, которые в ленинградском сумраке издали подсказывали ожидающим о подходе своего маршрута. Белый и зеленый — №30, желтый и зеленый — №23, а «шестерка», которая шла к огромному кино-театру «Гигант», где они с мамой смотрели фильм про океан «В мире безмолвия» — два синих...

— ...Допросив подсудимых и свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, включая судебно-медицинские экспертизы, суд считает виновными Ковбыша и Званцеву в совершении изложенного выше преступления. К такому выводу суд пришел, исходя из анализа показаний подсудимых, так и других доказательств. Показания свидетелей призна-

ются судом достоверными доказательствами по делу и оцениваются как допустимые. Проанализировав и оценив предоставленные сторонами доказательства в их совокупности, суд пришел к убеждению, что виновность подсудимых в совершении инкриминируемого им деяния материалами дела установлена...

...Водитель объявил: «Следующая остановка — Площадь Восстания». Дед поправил Мишке берет, и они стали пробираться к выходу. Приехали на вокзал часа за два до отхода адлерского экспресса, три вагона которого шли в Ростов. Народу было много — шумного, галдящего, с узлами, большими фибровыми чемоданами — начинали отправляться первые составы на Москву, сформированные сплошь из плацкартных и общих вагонов, и публика попроще ломилась на посадку, разумно полагая, что дешевизна билета сторицей окупит часа полтора ожидания начала работы метро.

Они случайно нашли освободившееся место на скамейке в зале. Место было одно, и дед взял Мишку на руки, неуклюже отставив в сторону больную ногу. Мишка чувствовал, что деду неудобно, но прижимался к нему все сильнее и сильнее. Дед в сотый раз повторял наставления, которые Мишке поднадоели еще в трамвае. За спиной громко вопил грудной ребенок, и поэтому особой нужды прислушиваться не было. Во-первых, дед уже все сказал, а во-вторых, вой грудничка перекрывал даже вокзальные объявления: «Начинается посадка на скорый поезд №28, сообщением Ленинград — Москва, платформа №6, левая сторона»...

«Голосистый, зараза», — подумал Мишка и поежился...

— ...В период инкриминируемого деяния Званцева каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики, лишившим ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдала. Имеющиеся у Званцевой особенности психики выражены не столь значительно, не сопровождаются эмоционально-волевыми расстройствами, какой-либо психотической симптоматикой, нарушением критических способностей, поэтому в период инкриминируемого деяния она могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими...

...Наконец объявили посадку на адлерский, и они вышли на платформу. Веселые люди с красивыми сумками торопились на поезд, начинался сезон отпусков. Дед взял Мишкин рюкзачок, стараясь хоть чем-то облегчить ему минуты перед расставанием.

Дед пошептался с проводницей, с силой сунул в полусжатый кулак билет и еще что-то. Проводница притворно удивилась:

— Как это так вам, гражданин, детский продали без взрослого... Куда в кассах смотрят...

— Да мальчику скоро семь... Совсем взрослый... Не с кем отправить... Его встретят обязательно.

— А если не встретят? Мне в детскую комнату сдавать некогда будет, в Марцево стоим десять минут, а я дальше в Адлер. Там смена...

И она отвлекалась на проверку билетов у молодой счастливой пары, которая предвкушала скорую встречу с морем.

Мишка подумал, что в детской комнате, о которой говорила проводница, наверняка много игрушек, и было бы совсем неплохо познакомиться с ее деятельностью поближе.

Дед порылся в карманах, обогнул проводницу сзади и еще что-то положил в боковой карман ее кителя.

— Ладно, что там, всякое бывает, — вдруг подобрела проводница, приятно захрустев в кармане. — Тебя как зовут, мальчуган?

— Миша Званцев, — полностью представился Мишка ввиду важности момента и даже слегка надулся — ему нравилась его звонкая, как весенняя капель, фамилия.

— Ну что, Миша Званцев, пошли с... — она вопросительно посмотрела на деда.

— С дедом! — подсказал он.

— Пошли с дедом в мое купе, я тебя на нижнюю полку положу, чтобы не грохнулся... А бригадир скажу, что племянника к сестре везу в Батайск... Бригадир у нас мужчина свойский... Только бы министерская ревизия не прошла.

Проводница открыла окно наполовину и усадила Мишку рядом.

— В первый раз на поезде едешь? Вещички сюда кинь... И смирно сидеть, прощаться через стекло... А вы, гражданин, прошу со мной на выход... Пассажир сейчас толпой пойдет...

Дед напоследок обнял Мишку.

Через минуту он стоял на перроне с другой стороны открытого окна. Из добрых глаз деда сами собой текли слезы, похожие на крупные дождевые капли. У Мишки тоже глаза оказались на мокром месте...

— Провожаящих просьба освободить вагоны, — громко закричали в тамбуре. Хлопнула тяжелая дверь, паровоз свистнул, почувствовался толчок, заскрежетали и провернулись колеса. Силуэт деда вдруг пропал за окном и тут же появился вновь. Мишка понял, что поезд тронулся, а дед идет за вагоном неспешным шагом... Паровоз свистнул еще раз, протяжнее, и вагоны убыстрили свой ход. Дед почти бежал, сняв шляпу и подхватив трость подмышку...

— ...За убийство двух человек, совершенное с особой жестокостью из корыстных побуждений, приговорить Ковбыша Семена Моисеевича к смертной казни... Званцеву Элеонору Борисовну к смертной казни...

Старуха во втором ряду, которой после четвертого часа чтения было совсем невмоготу стоять, сползла на пол между скамеек на чужие ноги.

— Вынесите ее из зала, — коротко рявкнул судья, который сам порядочно устал, и перешел к финальному фортиссимо. — Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в судебную коллегия... в течение десяти суток со дня вынесения...

Поезд уходил в небольшой поворот, и он увидел деда, машущего шляпой на краю платформы, и услышал далекий крик: «Ты большой парень, Мишка! Держись! Все будет...» Последнее слово заглушил нарастающий перестук колес...

Он плакал в последний раз в жизни, вместе с поездом убегала его маленькая жизнь, и наступала жизнь другая, неведомая, в которой слезам уже не было места. Проводница еще раз проверила билеты пассажиров и принесла Мишке стакан сладкого чая и две конфеты «барбариски», но он не притронулся к угощению. Так и просидел у окна, пока вагонная качка не сморила его ближе к полуночи.

В Таганроге Мишка узнал много нового и многому научился. Он научился бегло читать, узнал во дворе, из какого места берутся дети, а вместе с этими знаниями — много новых, доселе неизвестных ему слов, стал говорить «семачки» и «стрибнуть», не переставая удивляться мягкому южно-русскому говору тети Ларисы и дяди Рема, так не похожему на твердую рубленую речь бабули и словесные пассажи деда. Смирился с густой уличной пылью — мощеных улиц в городе было всего три, — с по-настоящему жарким солнцем. Смирился с тем, что его оранжевый берет — мамин подарок, который он носил не снимая, — быстро выцвел и стал грязно-рыжим; смирился и с тем, что во дворе он был самым маленьким и слабым, несмотря на все старания Ирочки сделать его «своим» в разношерстной толпе пацанов.

Научился не бояться кулака, лихо сплевывать в просвет выпавших молочных зубов, щелкать «семачки» почти как местные, раздельно и протяжно говорить «ган-дон», но все равно был аутсайдером, которого никто не принимал всерьез. Звездный Мишкин час настал в один прекрасный день, когда дворовая команда задумала поиграть в футбол «наши на ваших», и Мишку — для ровного счета — поставили у ворот, потому что всем остальным хотелось забить гол. Выяснилось, что Мишка, роняя берет, без страха бросался в самую гущу игроков, стремительно накрывая сначала мяч, а потом голову от возможных в азарте игры ударов.

Только противник намеревался ударить по воротам, как в ногах у него оказывался Мишка, ликвидируя опасность. Иногда вылазка заканчивалась немалой шишкой, но Мишка спокойно занимал свое место в воротах, лишь потирая ушибленное место. «Как кошка прыгнул», — уважительно отметил Олег Дудко, самый старший во дворе, собравшийся осенью уже в шестой класс.

И закрепилось за ним прозвище «Мишка-кошка» — хорошее прозвище, не обидное, не такое, как у толстого флегматичного увальня Вали Пасечного, которого иначе как «Кубышка» во дворе не называли. С тех пор, когда капитаны перед игрой выбирали по очереди игроков в свои команды, тот, который считал, что у противника собрались ребята мастеровитее, всегда настаивал: «А мне Мишку-кошку в ворота...», стараясь тем самым несколько уравнивать шансы команд. И тогда Мишку впервые посетила еще безотчетная мысль, что в сутолоке людей и событий легче поставить себя на правильное место, несмотря на очевидный риск больно получить по голове, чем уныло плестись в чьем-то фарватере...

Тетя Лариса и дядя Рем работали на большом заводе, который пыхтел трубами неподалеку от их дома. Дядя Рем был начальником: командовал чуть ли ни целой сменой, и поэтому уходил на работу чуть свет, а приходил поздно, когда тени от диких абрикосов во дворе достигали забора.

Мишку он называл «Михаленок», но, несмотря на занятость, каждую субботу вечером усаживался рядом с ним и читал книги посерьезнее: О. Генри, Джека Лондона или смешные рассказы Чехова (несерьезные сказки и стишки Мишка научился проглатывать самостоятельно). Особенно Мишке нравился рассказ Джека Лондона «Мексиканец». Он был довольно длинный и занимал целый вечер, но Мишка часто просил дядю Рема перечитать его. Его неокрепший ум потрясала воля маленького и щуплого отверженного человека, который у своих-то своим не был, чего уж про чужих... Мишке нравились его одержимость идеей, отчаянная битва на ринге наперекор очевидному неравенству, способная переломить судьбу, выжить и выстоять... Он даже хотел обратиться к дворовому обществу с просьбой сменить кличку на «Мексиканец», тем более что южное солнце порядочно подкоптило его детскую мордашку, а недетская жилистость, невеста откуда взявшаяся у дитяти питерских болот, вполне соответствовала выбранному образу... Однако передумал, зная, что в этом мире клички даются раз и навсегда...

И мечтал перед сном мечту о том, как когда-нибудь он выйдет на лютой бой — один против всех, против хохочущей толпы в прокуренном зале, против мрачного амбала, вдвое сильнее и старше его... И обязательно победит...

Так прошло лето. Дядя Рем читал, Ирочка успешно учила его писать прописными буквами, а тетя Лариса норовила сунуть после обеда лиш-

нюю конфету. Пару раз в месяц к тете Ларисе и дяде Рему от деда приходили письма с обязательной припиской для Мишки и Ирочки. Мишке давали читать только приписку, которую дед выводил печатными буквами, хотя Мишка уже навострился неплохо читать и по-письменному. Он писал о сыром и холодном — в это не верилось — лете и о футболе. А в конце письма обязательно надеялся на скорую встречу. Мишка отвечал, приписывая в конце, после латинских букв «Р» и «S» (дядя Рем его научил, что это значит «post scriptum», и убедил, что в этом «scriptum» главная суть любого письма), обязательный вопрос: «Что слышно о маме?», и недоумевая, как его любимая мама могла так скоро забыть сына... В следующем письме от деда приходил стандартный ответ: «Надо ждать и надеяться», — а этим Мишка заниматься еще не научился.

Бабуля и мама не писали вообще, что сеяло дополнительную смутную тревогу. Еще большую тревогу доставлял ночной непрерывный зуммер междугороднего телефонного звонка, Мишка просыпался и слышал в другой комнате неразборчивый разговор дяди Рема. Утром тетя Лариса объявляла ему: «Дедушка звонил, жив, здоров, привет тебе, Михаленок, передает», — и тут же крепко прижимала его к себе, долго не отпуская и загораживая от кого-то неведомого.

Незаметно настала осень. Но не питерская, сырая, промозглая, с кислой антоновкой и бесконечными дождями, а южная — богатая и щедрая. На базаре рубль — ведро с горкой иссиня-черных сладчайших слив, а во дворе — полудикие абрикосы, которые росли сами собой и роняли спелые плоды, истекающие соком, в жирную пыль. Их вкус — терпко-сладкий, с легкой примесью чуть тронувшей бока гнильцы — Мишка запомнил на всю жизнь. Он никогда, ни до, ни после, не ел фруктов вкуснее — хотя довелось попробовать и сирийские финики, и абхазский инжир, и афганские дыни.

Но осень принесла новые проблемы. Ребята со двора пошли в школу, начались занятия, и товарищи по играм исчезли на шесть дней в неделю. Мишка заскучал, так как в подругах по прогулкам осталась одна Оля Колесова — второклассница из восьмой школы, попавшая во вторую смену. Все остальные ребята из дома учились в школе №2, где второй смены не было. Несмотря на то, что восьмая школа считалась коррекционной, Оля умудрилась остаться во втором классе на второй год. Мишке с ней было неинтересно: о Джеке Лондоне и «Мексиканце» она слыхом не слыхивала, в «красных-белых» играть не хотела (да и вдвоем в эту игру играть плохо), а в основном громко пукала около большой песочницы, складывая игрушечным ведерком кривобокие куличики. Пукнув в очередной раз, она не забывала громко крикнуть: «УМРП!», что в переводе означало: «уполномоченный Москвы разрешает пукнуть». Во дворе это заклинание счита-

лось индульгенцией за неловкое действие. Внимательно рассмотрев Олю со всех сторон, Мишка решил рискнуть. Сэкономив пятнадцать копеек на дрожжевых «чибриках» (так в Таганроге называли пончики с небольшим количеством повидла), по цвету и вкусу напоминавшие тавот, он предложил Оле за эту внушительную сумму показать ему писю. Поразмыслив малое время, Оля согласилась, что и было сделано на ближайшей прогулке за гаражами в дальнем конце двора. Зрелище Мишку ни в чем не убедило и, в общем-то, не понравилось. В подруги Оля явно не годилась, и он снова, как в Питере, остался один: дядя Рем и тетя Лариса на работе, Ирочка и его футболисты — в школе, и лишь вечером на час, не более, двор снова наполнялся шумом и криком.

Сентябрь и октябрь выдались теплыми — не в пример ленинградской осени. Бесцельно слоняться по пустому двору день ото дня становилось скучнее. Уходить со двора ему категорически запрещалось. Дядя Рем старался обходиться с Мишкой без слов «нельзя» и «не разрешаю», но в этом вопросе был абсолютно непреклонен — нет, и все.

Тем интереснее оказалась первая вылазка. На первом этаже дома со стороны улицы помещался продовольственный магазин, который, кроме хлеба и вареной колбасы, торговал пивом и вином. Пустые ящики из-под напитков рабочие, за неимением подходящего места, сваливали в конце двора. Вывозили их редко, за лето один или два раза, а вина продавали, видимо, много, так что гора наполовину поломанных деревянных ящиков не уменьшалась. Из планок мальчишки постарше — те, которым по возрасту уже полагалось ходить с «перьями», — выстругивали красивые мечи, наподобие оружия Юранда из Спехова, сражавшего с крестоносцами. Мишке летом удалось посмотреть этот фильм. Дядя Рем повел всех в кино, а после сеанса тетя Лариса громким шепотом мягко корила его: «Ремчик! Ладно, Ирочка уже большая, но мыслимое ли дело семилетнему пацану показывать, как глаза выжигают, языки режут... Он неделю спать не будет... Он и без этого сума сойдет...»

У Мишки был острый слух, он все разобрал, но совершенно не понял, отчего ему сходить с ума, зная, что за Юранда отомстили, и гада магистра в конце фильма кокнули другие хорошие люди.

...Мишка бесцельно прыгал с ящика на ящик, разгребая кучки порожней тары в поисках чего-либо интересного. Так летом «Кубышка» Пасечный нашел в одном ящике пакет конфет «Старт» в вощеных обертках, а Дудко среди увечных и поломанных экземпляров обнаружил целый ящик с пустой посудой, пригодной для сдачи, — видимо, рабочие припрятали его для извлечения дополнительного дохода. На вырученные деньги купили три бутылки дешевого вина «Ркацетели» и распили их тут же за ящиками, а через полчаса дворовая орава переблевалась и с зелеными ли-

цами отправилась по подъездам. Мишке и двум пацанам помельче вина попробовать — в силу юного возраста — не дали.

Там, где куча примыкала к высокому забору, Мишка обнаружил две полусгнившие доски, которые легко поддались детскому усилию, и обрадовался, открыв проход в новое измерение. За забором, на поле среди пожухлого осеннего бурьяна располагалось трамвайное кольцо, к которому сбоку прицепилась будочка, даже скорее не будочка, а полузакрытый навес диспетчера. Во дворе иногда были слышны звонки подходящих трамваев и далекий скрежет металла о металл — Мишку это не удивляло. В будочке сидел дядька и перебирал клавиши баяна. Еще не тронутые глубокими морщинами лицо и живые глаза странно контрастировали с копной абсолютно седых волос баяниста. У стенки стоял отстегнутый протез ноги в полную величину, практически до самого паха, поразивший Мишку хитрым сплетением кожаных ремешков и металлических защелок. Баянист наигрывал себе что-то тихо-печальное, ловко перебирая кнопки и чуть шевеля мехами. Иногда подходил трамвай — мужчина откладывал баян и делал пометку в толстой книге на столе. Трамваев было всего четыре, ходили они редко, так как далеко им было тащиться с другого конца города от туберкулезной больницы, куда тетя Лариса один раз водила Мишку, чтобы у него взяли кровь из пальца и просветили чем-то в темном кабинете. Поэтому работы у баяниста было немного. Отвлекали его от баяна не чаще чем раз в полчаса толстые веселые вагоновожатые тетки, кричавшие ему: «Ну, Вадька, жениться не надумал? Совсем я готовая!» И тот, кого называли Вадькой, отмахивался и поднимал с пола баян, продолжая свои музыкальные упражнения. Иногда посередине очередного перелива-перебора седой начинал себе подпевать негромким правильным голосом: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя! Ты вся горишь в огне...», многожды повторяя эти незамысловатые слова, так естественно ложившиеся на печальную мелодию...

Мишка сел на траву недалеко от будки и заслушался. Что за страна «Трансвааль», он не знал, но мелькнувшую мысль спросить об этом у дяди Рема тут же отбросил. Вдруг это что-нибудь неприличное, и выйдет конфуз, вроде того, когда он попросил тетю Ларису объяснить ему, кто такая «...вошка». Пел он и другие песни, совсем не похожие на те, что исполняли по радио или орали ребята во дворе. Из репродуктора неслись бодрые марши «Рабочего полдня» и «Пионерской зорьки», а дворовая шпана вразнойбой вспоминала кейптаунский порт и про то, что «у юнги Билли стиснутые зубы...». Мишка скоро понял, что баянист появляется в будке через день — его сменщик, сухонький старичок, непрерывно куривший самодельную трубку, не пел и не играл, а лишь ловко сплевывал длинные желтые плевки и рычал на Мишку весьма неодобрительно...

Но через день, часам к десяти утра, Мишка пробирался через дыру в заборе на облюбованную в первый раз кочку.

Его присутствие баяниста не смущало. Тот продолжал свои обычные занятия, как бы вовсе не замечая Мишку и не тяготясь присутствием неожиданного слушателя. Репертуар его был невелик, и, бывало, одну песню он наигрывал несколько раз подряд, словно повторяя какие-то заветные, одному ему дорогие и понятные слова. Мишка был развитой мальчик и после второго исполнения каждой вполне способен был подпевать баянисту, но молчал, зная, что судьба обделила его голосом и слухом.

Для себя он выделил две композиции. Первую одноногий диспетчер исполнял несколько громче остальных, резче продергивая меха и чеканя мелодические трели:

— Рано утром разбудят, на поверку построят, вызывают «Васильев», ты выходишь вперед, это Клим Ворошилов, — тут следовал неожиданный ритмичный проигрыш, — и бра-а-атишка Буденный даровали свободу, и их любит народ...

Кто такие Ворошилов и Буденный, Мишка знал, и почему народ их любит — тоже, но это «даровали свободу» поставило его в неожиданный тупик. Но песня в целом хорошая, отмечал Мишка про себя.

А однажды он услышал песню совсем хорошую. Уже в конце октября, когда небо начало хмуриться совсем по-ленинградски, Мишка отметил, что с баянистом происходит что-то необычное. Трамваи приходили, но от инструмента он не отрывался. Отметок в книжку не ставил, от вагоновожатых весело — «плоскозадой кобылой» — не отругивался. У его целой ноги стояла початая бутылка белого вина — так странно в Таганроге называли водку. Он в первый и последний раз играл новую мелодию, напевая с начально взятых аккордов:

— Тихо вокруг, ветер туман унес, на сопках маньчжурских воины спят, и русских не слышно слез...

Поначалу не очень громко, но к припеву распелся:

— Плачет, плачет мать-старушка, плачет молодая жена, плачут все как один человек, свой рок и судьбу кляня, — распаяя себя и выводя рулады в полный голос в такт стонущему баяну.

И Мишке стало невообразимо грустно. Если раньше он считал баяниста почти своим, товарищем в нелегкой доле, то только теперь понял, что у того, кроме баяна, протеза и бутылки, нет вообще ничего, а у Мишки есть! Есть в далеком Ленинграде дед, бабуля и мама, которая, правда, забыла сына, но он-то ее не забыл; есть здесь, в Таганроге, Ирочка, дядя Рем и тетя Лариса; ребята со двора и Олег Дудко — признанный заводила и коновод — его признают, а следующей осенью он пойдет в школу, ему будет почти восемь, и появятся новые товарищи...

И физически, до кончиков обломанных ногтей, он ощутил, что баянисту, в отличие от Мишки, неоткуда ждать чего-то хорошего. И что в его жизни все уже случилось, а остались с ним лишь голос и грустные хорошие песни.

Выждав паузу, Мишка набрался храбрости, подошел к будке совсем близко и впервые обратился к артисту:

— Дядя! Пойдем к нам в гости... Тут в заборе дырка... Недалеко... Тетя Лариса вареников налепила...

Баянист улыбнулся так, что улыбнулись даже глаза.

— Малыш! Ты добрый, а люди злые. Трудно тебе в жизни будет... А в гости, извини, в другой раз... Да и работу оставить нельзя... Куда меня еще возьмут.

И допил из бутылки.

Больше баяниста Мишка не видел. Через день в будке снова сидел старичок с трубкой, злой, как черт. Облаял Мишку по-матерному и велел убираться к чертям собачьим. А еще через день место в будке занял другой человек...

Совсем скоро в небе — без обычной осенней слякоти — закружили белые мухи, а щель в заборе заколотили толстыми корявыми досками. Концерты закончились.

Наступила зима — короткая и быстрая в здешних местах. Она не принесла ничего примечательного. Разве что поздний разговор после тревожного непрерывного зуммера, как всегда разбудивший Мишку — он уже не удивлялся, так как узнал, что звонить по ночам много дешевле — и продолжавшийся дольше обычного. На следующее утро за завтраком его поразили лица тети Ларисы и дяди Рема — с одной стороны, весело оживленные, с другой — непривычно растерянные. Тетя Лариса часто промокала глаза кухонным полотенцем, а потом, не допив чай и не доев сырники, побежала в ванную. В тот день она не пошла на работу и, нарядив Ирочку и Мишку потеплее, отправилась с ними гулять по заснеженному городу. Сводила их в кино на фильм «Мистер Икс», где много пели и искусственно страдали. А в конце прогулки — Мишка отметил, что баянист пел интереснее, а вот насчет страданий, чьих больше, к одному мнению не пришел, — купила в единственной в городе кондитерской большую коробку пирожных «эклеров», как на Новый год.

Вечером того же дня дядя Рем оторвал его от книжки и позвал на кухню, где покурил папиросу с длинным мундштуком, не забывая выпускать дым в окно.

— Дедушка звонил, Михаленок... Ждет он тебя весной, совсем скоро ждет, скучает без тебя очень... Тебе решать... Подумай, не спеши, время еще есть...

Мишка мотнул головой, обещая дяде Рему подумать, хотя про себя решил сразу: «К деду, к деду». Не хотелось обижать доброго дядю Рема немедленным «еду». Он чувствовал, что быстрота Мишкиного решения будет ему неизбежно неприятна.

— Может, останешься у нас? Поживешь еще год-другой... Осенью в школу пойдешь. У нас школа новая открывается, английский с первого класса. Мы и Иру туда переведем, — тихо предложил дядя Рем.

— Ну что вы, я в Ленинград, к маме, деду и бабуле, — отрезал Мишка, четко расставив свои жизненные приоритеты. Дядя Рем погрузился, и Мишка попытался его утешить.

— Но я домой, а вам писать буду, я же научился... По-письменному... Обязательно.

— Славный ты человечек. Жаль расставаться — привыкли мы с Ларой к тебе, да и Ирка заскучает. Смотри — если что, пиши, звони сразу. Мы за тобой приедем и твою постель убирать пока не станем... Если что было не так — извини. Но вам с дедом трудно придется, — он внезапно осекся, как будто взболтнул лишнего.

— Все так, дядя Рем, все так, — затараторил Мишка. — Просто я очень хочу домой.

— Ладно, на самолете полетишь, на небо посмотришь вблизи... Из Ростова неудобно, там в Москве пересадка, из Новочеркасска есть прямой... По субботам летает. Может, все-таки останешься?

— Нет, — твердо решил Мишка. — Я в Ленинград.

Его впервые назвали человеком, пусть пока человечком, совсем маленьким человечком, но, значит, способным на решение. Свое собственное решение. И он обнял дядю Рема...

Всю жизнь он корил себя за то, что, повзрослев и оперившись в меру сил, так ни разу и не вернулся в Таганрог. Хотя в мыслях часто представлял себе, как, нагруженный подарками — да и деньгами, — звонит в квартиру №36 на третьем этаже. Ему рады: «Какой ты стал большой, Михаленок...», все садятся за стол, хлопчет Ирочка, помогая старикам, а после обеда она надевает самое модное платье, привезенное им из Ленинграда, и они идут гулять к домику-музею Чехова, вспоминая двор, мальчишек, футбол и абрикосы.

Ничего этого не случилось: ранний неудачный брак, служба, вечные командировки, новая семья. Нашлись тысячи причин, против его воли дурно повернулись обстоятельства, но в Таганрог он больше не попадал. Впрочем, одна встреча все же состоялась. В конце восьмидесятых в Военно-медицинскую академию приехал дядя Рем, с толстой-претолстой медицинской картой со смертельным диагнозом, в последней надежде на чудо, которое произойдет в лучшей клинике страны. И так совпало, что он был

в Ленинграде, ожидая нового назначения. Ирочка случайно застала его телефонным звонком. Тем же вечером он попал в нужную клинику — помогли погоны. Молодой дежурный врач, видимо, вчерашний адъютант, в отделение не пустил, ссылаясь на строжайший приказ, но все же любезность оказал. Через малое время вывел дядю Рема в гостевой холл у лестницы. Он не сразу узнал в высохшем старике веселого дядю Рема, когда-то напевавшего ему смешную дразнилку: «Михаленок-фраеренок! Михаленок-фраеренок!» — после ателье, где Мишке впервые в жизни сшили пиджак для домашнего концерта на Новый год, и он самозабвенно крутился перед большим зеркалом, рассматривая себя со всех мыслимых сторон.

Разговор сложился трудно. Вспоминать плохое не хотелось, а в настоящем ничего хорошего тоже не было. Болезнь уже добралась до горла, и каждая фраза давалась дяде Рему с трудом. Только в конце попросил Мишку принести папирос, без которых очень мучился. Поглядев на дядю Рема еще раз, Мишка понял, что в данном случае рекомендации врачей сильно запоздали, и, как молодой, сбегал к Финляндскому вокзалу в дежурный гастроном, работавший до одиннадцати вечера. Вернувшись, сунул три пачки папирос с профилем черного всадника на фоне горной вершины дяде Рему за пазуху, чтобы не заметил дотошный лепила. Оставил телефон. Дядя Рем обещал звонить — на том и расстались.

Через неделю Мишка узнал, что дядя Рем под расписку покинул клинику и уехал умирать, не попрощавшись.

Так и остались эти три пачки папирос Мишкиной платой за приют и гостеприимство по большому счету чужих для него людей, в своей святости способных разделить горе страждущего. Благословенны были те времена и такие люди, согретые его и своим теплом сохранившие в нем исчезающие с лица земли человеческие корни.

Похоронив родителей и оставшись с ребенком на руках, Ирочка звонила раз в год, стараясь подгадать под его день рождения. В новом веке и эти редкие звонки оборвались, навсегда оставив Мишке чувство неоплаченного долга.

...Он впервые летел на самолете, не без гордости поглядывая на соседей. Они, наверное, думали и втайне завидовали: «Такой небольшой мальчик, и уже летит на самолете». Заботливая, очень красивая тетя, которую звали «стюардесса», устроила его около круглого окошка — иллюминатора, и он то и дело поглядывал на серую пелену далеко внизу под брюхом стальной машины, понимая, что видит облака, но не снизу, а сверху. Его распирало счастье — счастье полета, счастье встречи с дедом и бабулей, счастье снова оказаться дома.

Самолет стал снижаться, облака поредели, Ленинград встречал его радостно, ярким, солнечным весенним днем. По дороге бежали маленькие

смешные автомобильчики, а радиомачты казались бабулиными спицами, воткнутыми вертикально в клубки возвышенности.

Встречающих было мало, но он не сразу узнал деда. Скорее, узнал его шляпу, но не сильно осунувшееся лицо цвета слоновой кости, без обычного легкого румянца. Да появилась вполне заметная хромота вместо привычной чуть подпрыгивающей походки и сильнейшая внутренняя дрожь, которая передалась Мишке, когда дед сгреб его в охапку и тискал в объятиях.

— Домой поехали, — деланно весело сказал дед. — Пошли на автобус, с твоим добром я справлюсь.

Мишкины пожитки были заботливо сложены в тот самый маленький рюкзачок, с которым Мишка отправился в Таганрог. Там были новые ботинки, школьная форма слегка на вырост — уже новая, с пижонским серым пиджачком вместо гимнастерки, и пачка печенья «Мария», которую заботливая Ирочка уложила в последний момент, прощаясь с «братиком».

Они долго ехали на автобусе, и Мишка вновь удивлялся забытым в двух- и трехэтажном Таганроге многоэтажным домам, обилию машин и полному отсутствию конных повозок. Потом спустились в метро, у Финляндского вокзала на конечной вылезли наверх и сели в тридцатый трамвай, который, дребезжа на стрелках, повлек их на Петроградскую сторону.

— Деда! Деда! Нам выходить! — закричал Мишка, когда трамвай пересек улицу Скороходова, которую дед называл по-старому Большой Монетной, и Мишке открылась высокая пятиэтажная «сталинка» с его окнами в тихий сквер во дворе.

— Нам дальше, внук, — строгим голосом сказал дед и крепко придавил его плечо к сиденью.

Они вышли почти у самого кольца, далеко за площадью Льва Толстого, прошли через недолгий лабиринт коротких улиц и оказались около громадного мрачного дома очень старой постройки. Дед толкнул скрипящую дверь, из подъезда ударил неприятный кошачий запах. Поднялись на самый последний этаж, причем два финишных марша лестницы дед смог одолеть приставным шагом.

Они очутились в маленькой квартирке с низкими окнами и широкими облупленными подоконниками. Вероятно, последний этаж, первоначально проектировавшийся как мансарда, решили сделать полноценным жильем для сдачи в наем публике попроще.

— Иди руки помой, сейчас обедать будем, я тут кое-что сообразил, — предложил дед.

Мишка очутился в комнате с железной раковиной-рукомойником и огромной чугунной ванной с облупившейся эмалью. Забулькала вода

в кране, и он вдруг вспомнил про главный вопрос и крикнул в глубину квартиры:

— Деда! А где мама?

Дед внезапно возник на пороге и очень четко произнес:

— Мама в тюрьме...

Мишка не понял, в какой такой «тюрьме»:

— А бабуля где?

— А Гути с нами полгода как нет. На Смоленском она, милый... Сердце не выдержало... Мы ее завтра навестим...

Мишка подрублено рухнул на пол, едва не ударившись головой о чужой край ванны.

Очнувшись, он увидел перед собой деда, сидящего на полу обхватив колени и уткнув в них голову. Захлебываясь, он непрерывно говорил громким страшным шепотом, который иногда глушили горловые спазмы:

— Так ведь первый приговор городского суда — смертный... На обжалование — десять дней... Адвоката наняли частного... Светило, спасибо ему... Георгию Петровичу Керженсу... Святой человек, четыре кассации, довел до Верховного ССР, пересуд... Спас — заменили на пятнадцать, без права на УДО, лагерь особо строгий, два письма в год, свидание через пять... Она полгода под смертным приговором сидела, верные люди сказали уже, на этап к исполнению отправляли... Святой человек — остановил. Все продать пришлось, сервис «Два меча», «Лейку», «ФЭД», книги, квартиру поменяли с хорошей доплатой, все ушло... А она там как, ей же хуже всех... Гути не стало... Иду я по улице, машина пролетает — думаю, шагнуть-то надо два шага вправо, и все, о тебе подумал: кто же подымет, кто... Кто расскажет, если не я?...

Деда душили рыдания, плечи вздрагивали.

— Удержался... Спасибо Рему и Ларисе — тебя уберегли от всего этого... Есть люди, есть нелюди... Мишка! — голос деда взвился. — Нелюди... Не могут они землю просто так топтать... Этот важняк особенно, от встречи, гаденыш, не отказался, мне так и говорит, с улыбкой гаденькой: «И как вам, войны участнику, удалось воспитать дочь-убийцу»... И тут сдержался, «она моя дочь» ответил, и все... Дочь, понимаешь, гаденыш... Мы тебя сразу на себя с Гутей переписали, спасибо, добрые люди в ЗАГСе вошли в положение, не бесплатно, конечно, новую метрику тебе выдали... На себя с Гутей, ты — сын наш теперь... Что тебе всю жизнь не ходить с пятном несмываемым... Мне уже не доведется: нервы ни к черту, нога болит, натоптался, навидался, а ты запомни, запомни, осенью семьдесят шестого Нору освободят... Освободят, слышишь!

Дед сгреб Мишку к себе ближе.

— Осенью семьдесят шестого... Слышишь? Слышишь! Увидишь! — они долго сидели на выщербленном холодном полу, не в силах тронуться с места. Старик и мальчик.

— Я буду ждать, деда... Осень семьдесят шестого... И ты дождешься, — Мишка на секунду почувствовал себя сильнее и старше деда. — Успокойся, деда, успокойся! Осень семьдесят шестого? Не обманешь, дед?

— Нет, милый, нет... — и дед опять зарыдал.

Лет через пять в конверте, вместе со стандартным письмом на странице, вырванной из школьной тетради в клеточку, оказалась фотографическая карточка. Она запечатлела совершенно незнакомую обрюзгшую женщину средних лет в блузе с кружевным воротничком. Одутловатое лицо на фото безобразили вислые складки щек и глубокие носогубные морщины. На обороте фотокарточки витиеватым почерком было выведено: «Веселися, пой, танцуй с друзьями и немного думай обо мне». Мишкина мать не могла написать такого. Он понял, что веселой смеющейся мамы больше нет. И никогда не будет.

...Дедушка обманул Мишку. Осенью семьдесят пятого из далекой Мордовской ССР, со станции Потьма, вслед за обычным конвертом, в котором мать два раза в год рапортовала, что выполняет норму на сто двадцать процентов, и, как обычно, просила прислать сала и хороших сигарет, пришел конверт казенный, с маркой, напечатанной типографским способом. В нем начальник ИТУ, почтовый ящик номер такой-то, сообщал, что осужденная Званцева Элеонора Борисовна скончалась от двустороннего воспаления легких и похоронена в общей могиле ИТУ за номером... К письму прилагалась бледная машинописная копия медицинского заключения.

Однако спросить за обман было не с кого. Дед умер осенью семьдесят второго, сразу после того, как Мишку зачислили на первый курс Высшего военно-инженерного училища как успешно сдавшего вступительные экзамены и сына ветерана войны.